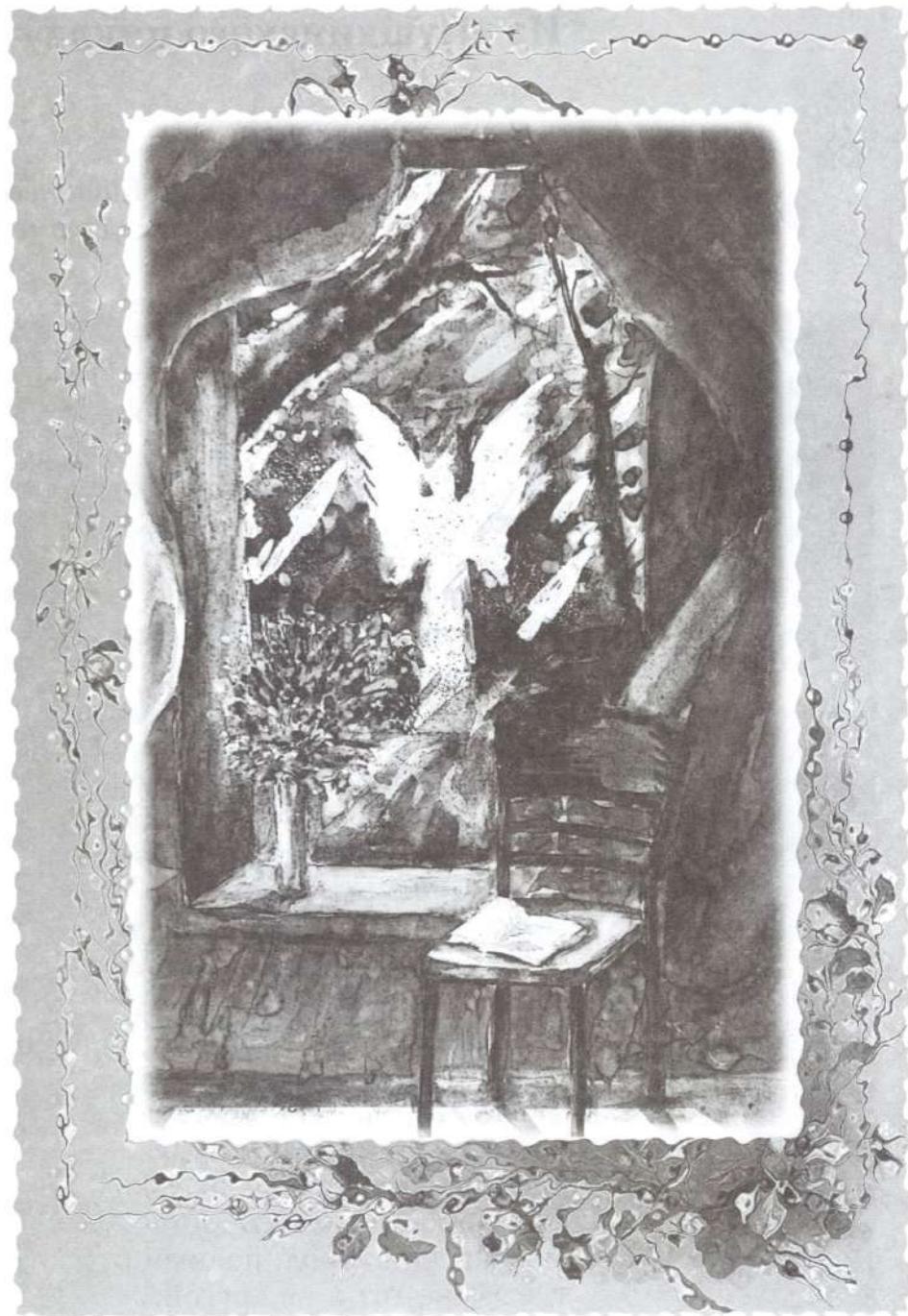


Из «Пушкинского цикла»

* * *

Проклятый город Кишинёв,
Тебя бранить язык устанет...

Проклятый город Кишинёв.
Его бранить – язык устанет.
Но этот город чем-то манит
меня под равнодушный кров.
Во чреве матери моей
сюда я был отправлен в ссылку.
Здесь пил я первую бутылку,
здесь пел мне первый соловей.
Петрополь, бойкая Москва
и боль приморская – Одесса, –
всё это полно интереса,
но в сердце Кишинёв сперва.
Ни одному из городов
я так прискорбно не обязан
ни тем, что пристыжён и связан,
ни тем, что пагубно здоров.
Самонадеянный порыв
мой первый, робкие начала
здесь глупость добрая ласкала,
в итоге так и не открыв,
на что навесть прицел мне дальний,
куда направить взор и слух.
О, этот дух провинциальный,
застойный огородный дух!..
Теснит меня в пределах узких,
безмерно полного собой,
молдавский город, полный русских,
где я – не тот и не другой.
Но, славен Бог, – для русской лиры
не писан варварский закон.
Порой в окно чужой квартиры
она бросает камертон.
И здесь, где север полон юга,
где рядом запад и восток,
я взял перо, я встретил друга,
я слушал первый мой урок.
Уж верно, всякому цветенью
своя назначена земля,
и грех цветущему растению
бранить окружные поля.



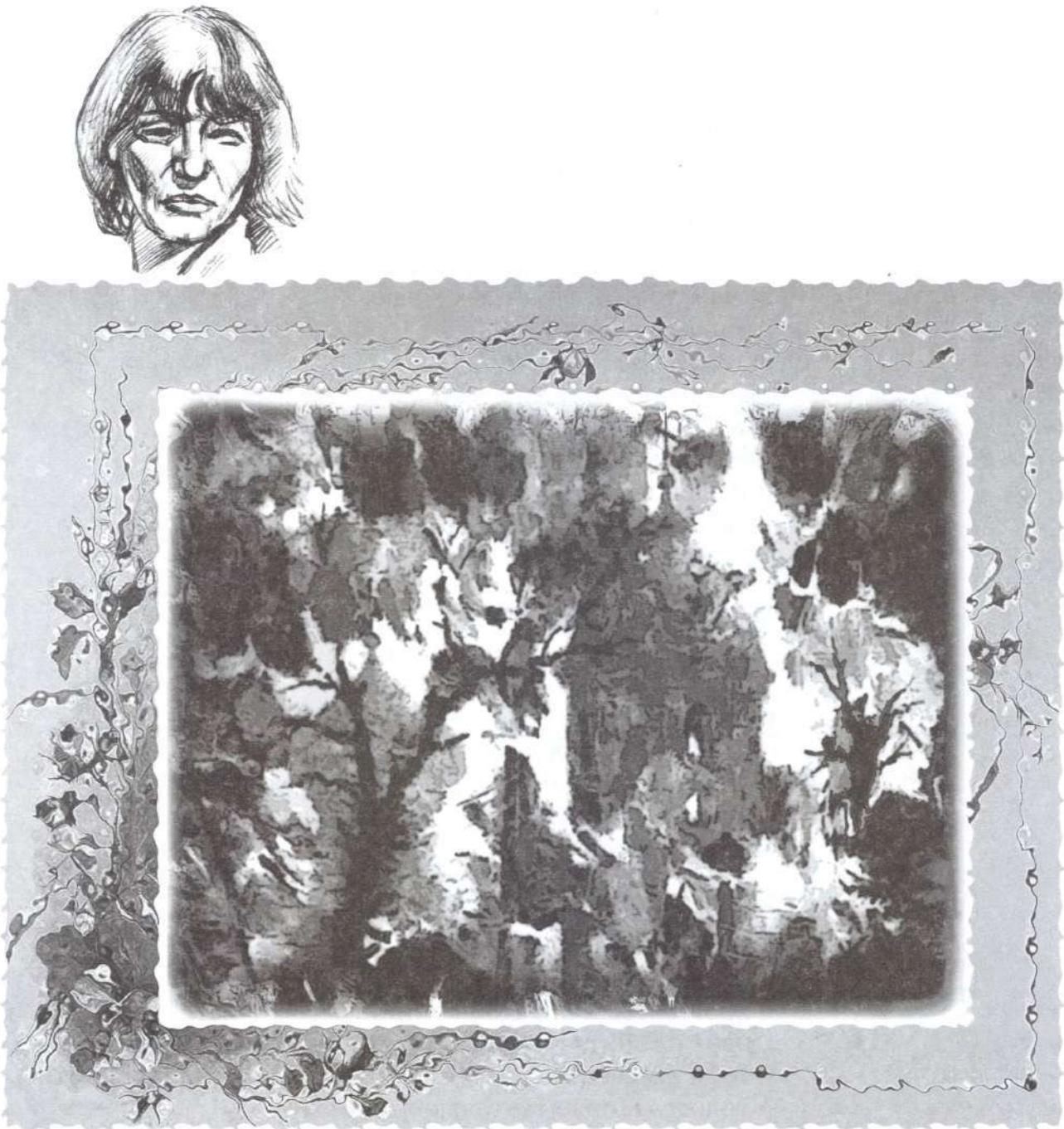
«Явление». С. Зайченко
(ШИ, преподаватель С. Сулин). 1998



Зима – твой след...

На мне коньки и полушибок
Ванин,
в виду жилища своего сную
неловко,
падаю,
встаю
и снова падаю,
и снег сухой жую,
и мню, что на дуэли ранен,
зима – твой след в моем kraю,
и мню, что ранен,
встаю,
шатаюсь, мню и мну
ушанку перед животом,
где продырявлен полушибок Ванин,
и падаю потом,
и говорю:
«Воды на грудь!

Горю!» –
и сам с собою от стыда сгораю,
ведь я-то знаю,
что играю,
зима – твой след в моем kraю,
и тяжко съезнова встаю,
и падаю, и слышу:
«Лежи потише,
снегом напою», –
не открывая глаз
на этот раз,
шепчу: «Скорее, жжет!» –
в крови весь полушибок Ванин,
живот пробит,
и пуля в печени сидит,
и голос: «Жорж, ты только ранен». –
«Как Жорж?! Я – Пушкин!» –
«Он убит».



Свято-Успенская церковь (ул. Болгарская, построена в 1892). 2006



Катя КАПОВИЧ

* * *

Я умру, где читают по кругу
Тютчев, Вяземский, Блок, Сологуб –
и не мне круговую поруку
замыкать шевелением губ.

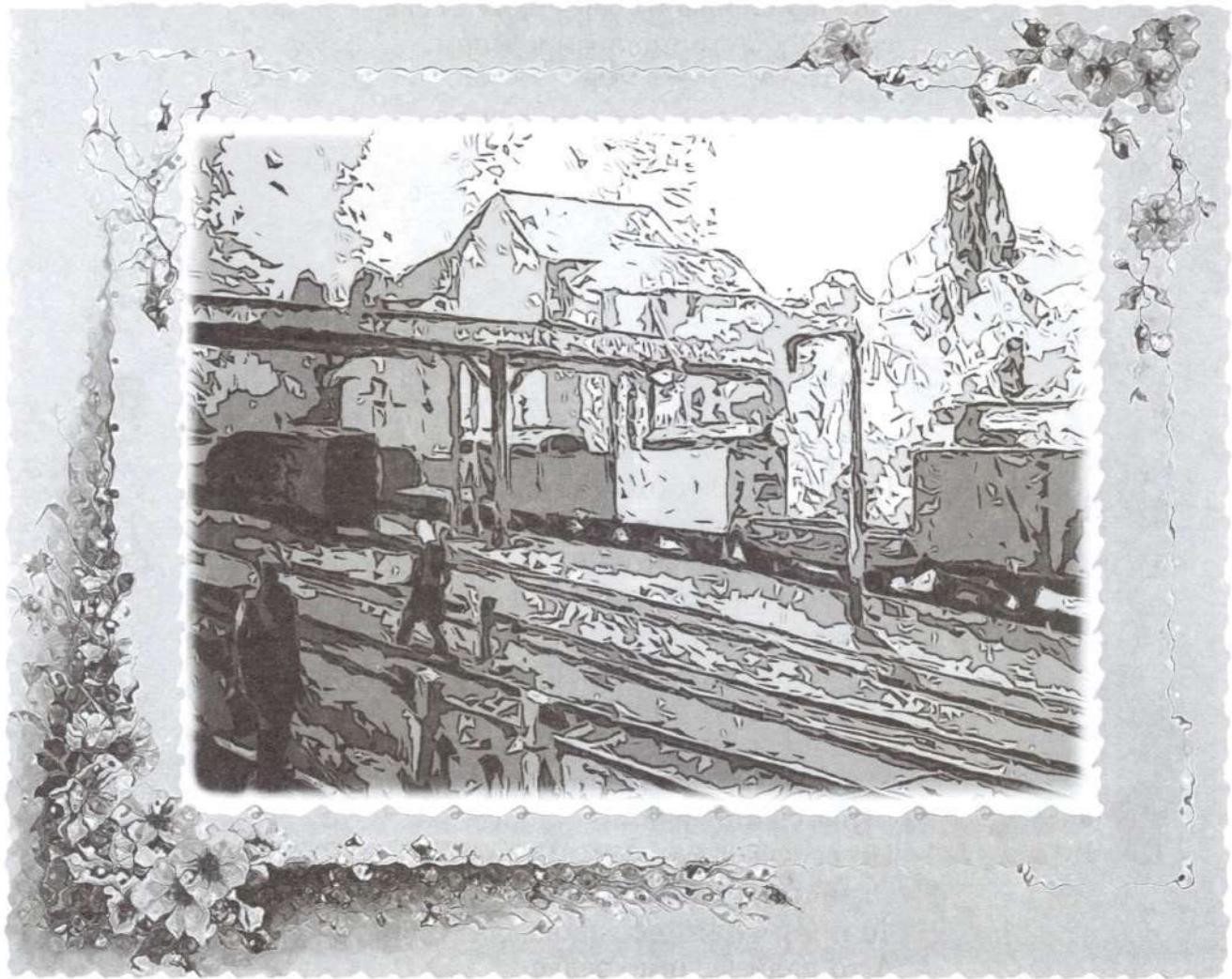
Я уснула под эти распевы
за простым деревянным столом:
Тютчев справа и Вяземский слева –
грустно, муторно в мире моем.

А ведь где-то в глухом Кишинёве
в это время бутылку в карман
прячет Хорват, и ловит на слове
наши души осенний туман.

Новый год

Vite Панэ

Пока мы с Витюхой пили свой «Крым»,
Закусывая шоколадкой,
В двух южных столицах сменился режим
И в собственной стало несладко.
Трехтомник Тагора снесли в «Букинист»
И Уайльда три дня отпевали,
Но долго циничной казалась мне мысль
На Гамсунा брать «Цинандали».
Мы бросили пить, когда вышел приказ
Рубить виноградник на юге,
Но тут же спустили и мы в унитаз
Экзистенциальные муки.
То пили «Кагор», разбавляя водой,
А то дяди-Федино зелье.
Мы не уходили при этом в запой,
А пили, скорей, для веселья.
Дошло до смешного: на Пруста рука
Зимой поднялась, но Витюха
Сказал, что у нас встанет в горле стакан,
Пускаемый в парке по кругу.
Нам холодно, холодно было вдвоем
В том парке, под елкой вихрастой,
Где дядя Мороз в полушибурке худом
Таскал свои санки по насту.
Там шел детский утренник сутки подряд,
И, чтоб заработать десятку,



Железнодорожный вокзал. 1979



Витюха в медвежий влезал маскхалат
И, хлопая, прыгал вприсядку.
И с арки Победы сияло ему
Лицо циферблата с издёвкой,
Когда алкашам говорил он: «Не пью» –
Без твердости, но с расстановкой.

К его автопортрету

За спиной твоей стены подтают,
потолок, будто мартовский снег.
Есть какая-то роскошь слепая
в этой фразе «расстаться навек».

Здравствуй, бледный наш быт кишинёвский,
батареи чуть теплый зигзаг!
Талым снегом подкрашены доски,
Все тепла не удержат никак!

И кричат эти черные птицы
на высоком карнизе твоем;
что-то бьется, мерещится, мнится
за плечом, за крылом, за стеклом.

Не затем ли всю жизнь умирала,
что и смерть на миру там красней,
крови слишком уж яркой и алоей
в одночасьи поспешных смертей.

* * *

За домом вырос сквер, где я сирень ломала:
на кладбище её в тот год осталось мало –
там бабы с магалы всё обломали, видно,
и продали уже. Одновременно стыдно
и сладко вспоминать жизнь, что прошла куда-то
туда, где больше нет ни девочек, ни сада,
ни мальчика в очках, и только я брошу.
Душа моя, я знаю тут крылечко,
где можно тихо сесть спиною к гаражу
и выдохнуть колечко.
К нам урка подходил стрельнуть на опохмел.
Наш был ответ простой: а Мотыля ты знаешь?
И он к тебе не лез и долго вбок глядел,
туда, где в кладке не хватало клавиш.
Мотыль в тот год учил, что, если будут бить,
бежать нельзя, бить в пах ногою,
на помощь звать, «да-нет» не говорить.
И белый свет в глазах не путать с чернотою.



Развалюха на ул. Кузнечной. 1895



Путь на базар

Я в Кишинёве улочки люблю,
Кривые переулки и тропинки,
И, несомненно, путь свой удлиню,
Но ловит взор занятные картинки.

Мой путь простой: из дома – на базар.
Определяю как мотион короткий.
«Вы все гуляете...», – хромой сосед сказал.
«Пусть будет так», – я соглашаюсь кротко.

И я иду вдоль домиков, садов,
Детей встречаю, беспризорных кошек.
Сподручнее не оставлять следов.
Ну, что же – мимо, если жалко крошек.

Но как же можно ждущим – не подать?
Я воздаю нехитрым угощеньем.
Мы – должники. И надо отдавать,
Надежды не теряя на прощенье.

Я подхожу: одноэтажный дом,
Кусты сирени разглядеть мешают...
Но вот глаза – глубокий водоем!
И «Буна зиуа»: в гости приглашают!

С мэтушей Унгуряну я дружу,
Ее певучей речью упиваюсь
И словно по ступенькам восхожу
Терпенья, доброты ее касаясь.



Дом М. Биешу. Ул. Садовая. 2017



* * *

Комбату А. И. Бельскому
И освободителям Кишинёва

... А было: Солнце. Осень. Август.
В руинах, ранах Кишинёв.
Ты должен знать об этом, правнук,
Как добывали мир и правду
В суровой жесткости боев.

В боях измотанный, но рвался
В атаку первый штурмовой,
Он так недаром назывался,
Легендой в памяти остался,
В скрижалях славы боевой.

Подтянутый, молодцеватый
Шел батальонный командир
(А как любили все комбата!)

«Кто хочет флаг поднять, ребята?» –
Все потянулись, как один!

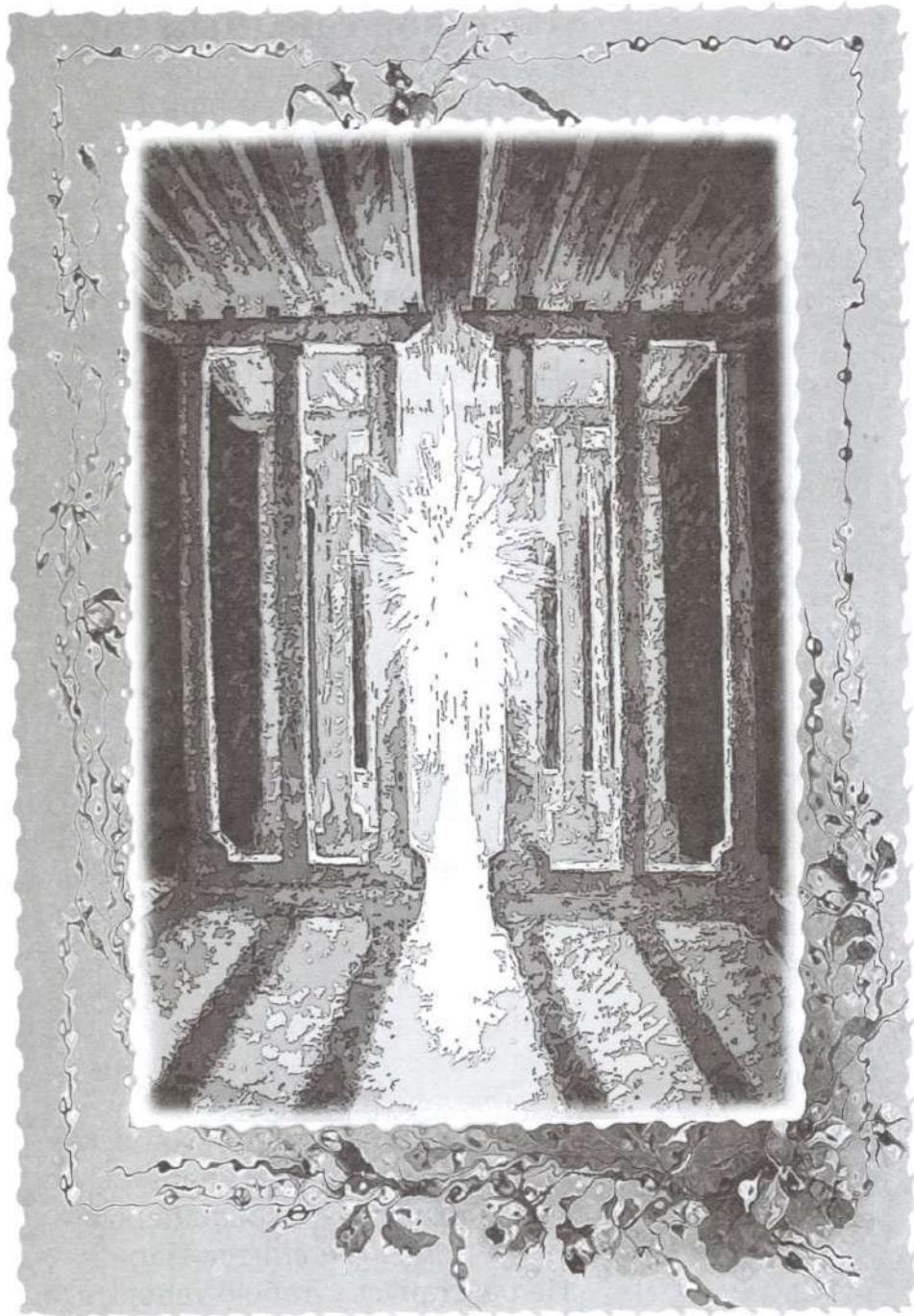
Флаг поднят. Вот он, стяг Победы,
Над Кишинёвом, над страной...
О, вдумайтесь, какие беды
Отведены. А наши деды
Забыты в стороне родной!



Фасад здания на углу ул. Пушкина и Искры. 1978

Разговор с родным городом

Не грусти, старина Кишинёв,
Ты ведь тоже, поверь мне, столица.
Я до боли глядеться готов
В горожан твоих лица.
Пусть кому-то и снится Париж...
Как в строю, монументы застыли...
Лишь закрою глаза, ты паришь
В опереньи асфальтовых крыльев.
Пусть гордится Невой Ленинград,
А Москва – Моховой и Арбатом.
Пушкин тоже бродил, говорят,
По твоим переулкам горбатым.
Помнишь – полночь, околица спит
И карнизы дождями уизаны.
И не спит лишь опальный пиит,
Да свеча в низкой комнате Инзова.
Оглянись на столетья назад,
Что увидишь, поведай на ушко нам...
Вот идет молодой Александр
Вдоль по будущей улице Пушкина.
Хоть гордится Невой Ленинград,
А Одесса – задумчивым Дюком,
Пушкин тоже бродил, говорят,
По горбатым твоим переулкам.
Тридцать лет мы с тобою на ты,
Для тебя это только мгновенье.
Я дарю тебе сны и мечты,
Ты мне даришь свое вдохновенье.
Над мою судьбой ты паришь,
И роняешь года, словно перья.
Пусть кому-то и снится Париж,
Не расстанусь с тобою теперь я.
Пусть гордится Невой Ленинград,
А Москва – Моховой и Арбатом.
Пушкин тоже бродил, говорят,
По твоим переулкам горбатым.



Строительство виадука на Ботанику. 1982



Кишинёвские похороны

Я помню тусклый кишинёвский вечер:
Мы огибали Инзовскую горку,
Где жил когда-то Пушкин. Жалкий холм,
Где жил курчавый низенький чиновник –
Прославленный кутила и повеса –
С горячими арапскими глазами
На некрасивом и живом лице.

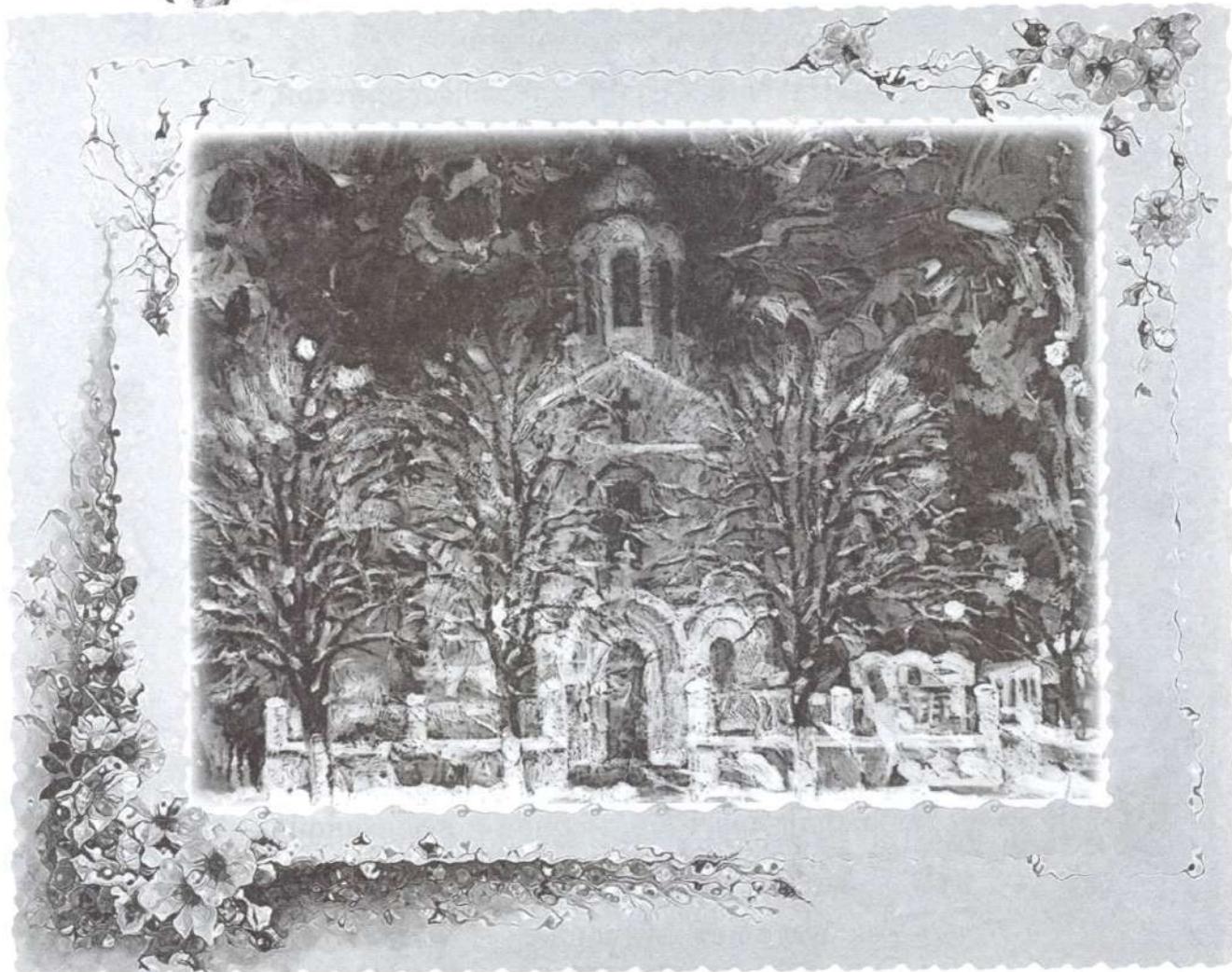
За пыльной, хмурой, мертвой Азиатской,
Вдоль жестких стен Родильного Приюта,
Несли на палках мертвого еврея.
Под траурным несвежим покрывалом
Костлявые виднелись очертанья
Обглоданного жизнью человека.
Обглоданного, видимо, настолько,
Что после нечем было поживиться
Худым червям еврейского кладбища.

За стариками, несшими носилки,
Шла кучка мане-кацовских евреев,
Зеленовато-желтых и глазастых.
От их заплесневелых лапсердаков
Шел сложный запах святости и рока,
Еврейский запах – нищеты и пота,
Селедки, моли, жареного лука,
Священных книг, пеленок, синагоги.

Большая скорбь им веселила сердце –
И шли они неслышною походкой,
Покорной, легкой, мерной и неспешной,
Как будто шли они за трупом годы,
Как будто нет их шествию начала,
Как будто нет ему конца... Походкой
Сионских – кишинёвских – мудрецов.

Пред ними – за печальным черным грузом
Шла женщина, и в пыльном полумраке
Не видно было нам ее лицо.
Но как прекрасен был высокий голос!

Под стук шагов, под слабое шуршанье
Опавших листьев, мусора, под кашель
Лилась еще неслыханная песнь.
В ней были слезы сладкого смиренья,
И преданность предвечной воле Божьей,
В ней был восторг покорности и страха...
О, как прекрасен был высокий голос!



Спасо-Преображенский собор. Улица С. Лазо. (XIX век). 2015



Не о худом еврее, на носилках
Подпрыгивавшем, пел он – обо мне,
О нас, о всех, о суете, о прахе,
О старости, о горести, о страхе,
О жалости, тщете, недоуменье,
О глазах умирающих детей...

Еврейка шла почти не спотыкаясь,
И каждый раз, когда жестокий камень
Подбрасывал на палках труп, она
Бросалась с криком на него – и голос
Вдруг ширился, крепчал, звучал металлом,
Торжественно гудел угрозой Богу,
И веселел от яростных проклятий.
И женщина грозила кулаками
Тому, Кто плыл в зеленоватом небе,
Над пыльными деревьями, над трупом,
Над крышею Родильного Приюта,
Над жесткою, корявою землей.

Но вот – пугалась женщина себя,
И била в грудь себя, и леденела,
И каялась надрывно и протяжно,
Испуганно хвалила Божью волю,
Кричала исступленно о прощенье,
О вере, о смирении, о вере,
Шаражалась и ежилась к земле
Под тяжестью невыносимых глаз,
Глядевших с неба скорбно и сурово.

Что было? вечер, тишина, забор, звезда,
Больша пыль... Мои стихи в «Курьере»,
Доверчивая гимназистка Оля,
Простой обряд еврейских похорон
И женщина из Книги Бытия.

Но никогда не передам словами
Того, что реяло над Азиатской,
Над фонарями городских окраин,
Над смехом, затаенным в подворотнях,
Над удалью неведомой гитары,
Бог знает где рокочущей, над лаем
Тоскующих рышкановских собак.

...Особенный, еврейско-русский воздух...
Блажен, кто им когда-либо дышал.



Домик у Комсомольского озера. 1977



Кирилл КОВАЛЬДЖИ

* * *

В Кишинёв, где нету дома моего,
я приехал, но не будет и меня
в Кишинёве, потому для него
попривычней жить, вчерашних не храня.

Я храню вчерашнее! Друзей
и сегодняшнее солнце сентября.
Разметай меня по миру и разведи –
соберусь в живую каплю янтаря.

Сохраню я виноградину тепла,
бессарабскую лозу и бирюзу;
подмосковная сосновая смола
так похожа на янтарную слезу...

* * *

По Румынии метельной
еле ходят поезда,
сквозняком купе продуты,
на окне рисунки льда...
Ранний сумрак в день приезда;
по проспектам Бухареста
ветер бегает с ножом,
а свобода – нагишом.
И Москва вдали озябла
и простужен Кишинёв,
между ними по Европе
расползающийся шов;
ни утопий, ни гостинцев –
пофартило же берлинцам:
их края без половин,
плед, натопленный камин.

В который раз

Это тот и не тот Кишинёв,
и внезапно – испуг:
кончается командировка,
а я еще не зашел к родителям...

Как мог я забыть?
Но что-то случилось с транспортом,
не туда попадаю, теряюсь,
заметавшись, словно в ловушке,
и просыпаюсь в московской квартире...

Мать и отец, простите,
что я вам дал умереть.



Земфира. 2000



Калипсо

Целовал ее Байрон,
утверждала молва,
и за это любил ее Пушкин
(было ему двадцать два,
а ей едва восемнадцать).

Ах, какой получился славный коктейль
из балканского Кишинёва,
где не принимали за иностранцев
ни горячую гречанку,
ни русского африканца.

Ах, какая была весна,
как легко писал молодой поэт
для этой носатой, смуглой, гибкой
Калипсо!

Где это всё?

В монастыре Пятра Нямц
черепа монахов на стеллажах,
совершенно друг другу подобные,
кроме более современных,
чи портреты написаны маслом по темени –
преподобные лица
над челом с пустыми глазницами.

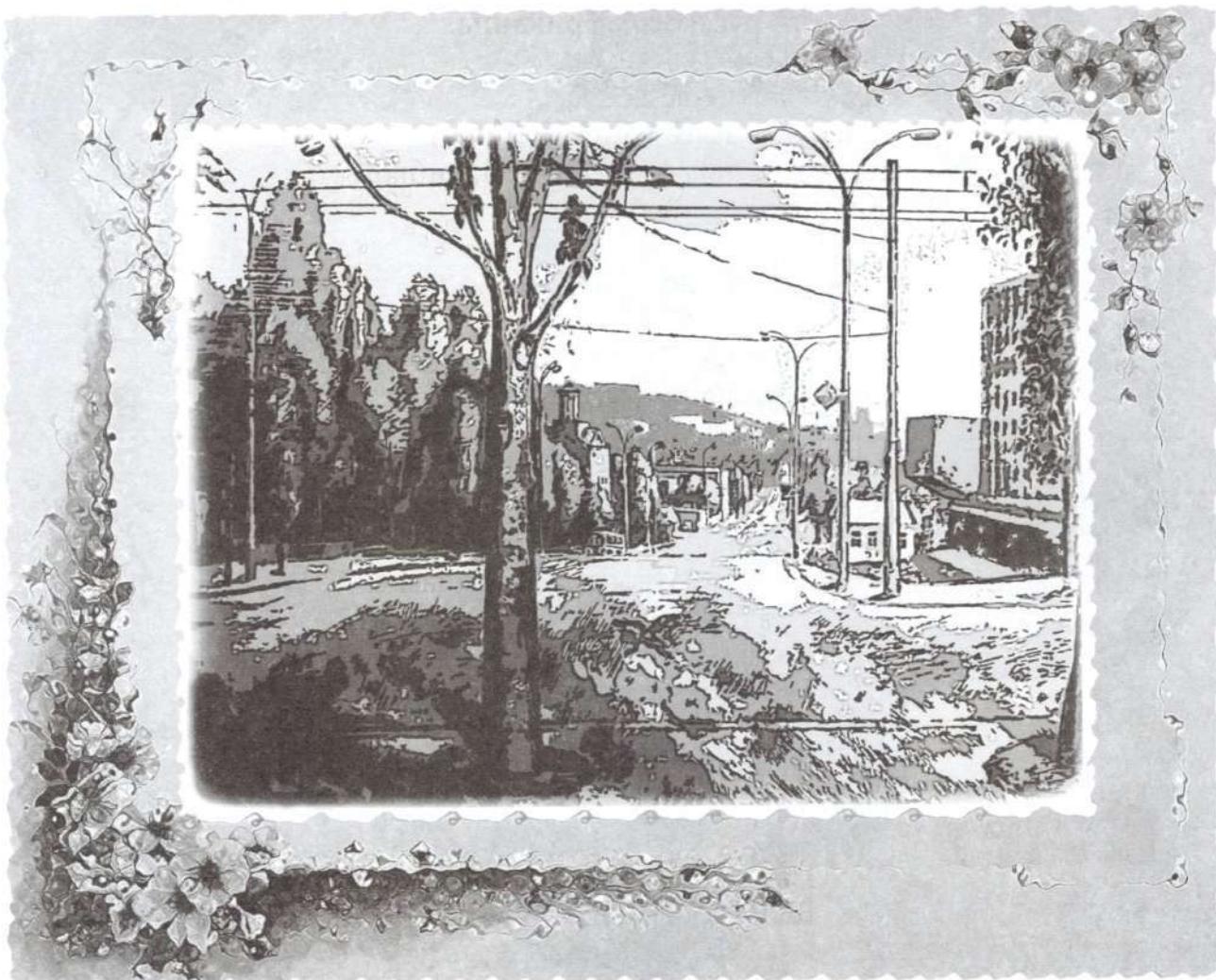
Отдельно в стеклянной витрине
бурый череп с венком из букв:

ГРЕЧАНКА ДЕВА КАЛИПСО
рядом записка предсмертная:

ГОСПОДИ, ВЕРЮ, ТВОЕ МИЛОСЕРДИЕ
БЕЗГРАНИЧНЕЙ МОИХ ПРЕГРЕШЕНИЙ!

Никто не знает,
почему однажды ночью осенней
она под видом послушника
постучалась в мужской монастырь...

А Пушкин –
он в кишинёвском парке,
взрослый, серьезный,
голова на колонне –
бронза
на камне...



Перекресток ул. Оргеевской и пр. Ленина. 1980



Наум КОРЖАВИН

* * *

В Кишинёве снег в апреле,
Неожиданный для всех...
Вы чего, Господь, хотели,
Насылая этот снег?

Он от Вас весь день слетает,
Сыплет с серых облаков,
Неприятно охлаждает
Тёплый город Кишинёв.

И пускай он тут же тает,
Он сгущает серость дня...
Чем, конечно, угнетает
Всех на свете
и – меня.

Очень странно видеть это –
Снег без счастья, без игры, –
После солнца, после лета,
После света и жары.

Холодов терпеть не может
Этот город летних снов.
Как в ущелье, расположен
Он на склонах двух холмов.

А сегодня снег в ущелье
И туман на лицах всех...
Вы нам что сказать хотели,
Напуская этот снег?

Что пора забыть про ересь?
Вспомнить вновь, как Вы нужны?
Всё смешалось. Давит серость,
Скука давит в дни весны.

Всё во мне с тем снегом спорит.
Скука? Серость? – Чепуха!
Я ведь помню – этот город –
Город светлого греха.

Здесь – два месяца уж будет –
Без венца (о чём скорблю)
Я живу – простите, люди, –
С той, которую люблю.

С той веселой и капризной,
Смех вносящей на порог,
Без которой счастья в жизни
Я не знал и знать не мог.



Парк им. А.С. Пушкина. 1975



С той, что может быть серьёзной,
Но не прочь и чушь молоть.
С той, к кому Вы сами поздно
Привели меня, Господь.

В Кишинёве снег в апреле
Сыплет мрачно, давит всех.
Что напомнить Вы хотели,
Напуская этот снег?

Возбуждая эти мысли?
Что у страсти дух в плену?
Что права я все превысил?
Лямку честно не тяну?

Зря. И так ознобом бродит
Это всё в крови моей,
От себя меня уводит
И от Вас, и от людей...

От всего, чем жил сурово,
Что вдруг стало ни к чему.
И от слова. Даже слову
Я не верю своему...

В Кишинёве снег в апреле
Ни за что терзает всех.
Ах, зачем Вам в самом деле
Нынче нужен этот снег?

Разве честно мстить за страсти?
Не от Вас ли Дух и Плоть?
Не от Вас ли это счастье,
Что открылось мне, Господь?

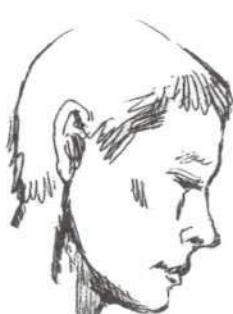
Так за что вконец измучен
Я лишением души?
Что Вам – вправду было б лучше,
Чтоб и впредь я жил во лжи?

Иль случайный приступ злости –
Снег, что с неба к нам слетел?..
Часто кажется, что просто
Удалились Вы от дел,

И внезапной власти рады,
С упоением ребят
Небо Ваши бюрократы –
Ваши ангелы – мутят.



Органный зал. Ремонт купола (первоначально – здание банка, проект инженера М. Чекеруль-Куша. Построено в 1911). 2017



Алла КОРКИНА

* * *

Твой скромный гений, Бернардацци,
Мне сердце трогает всегда
Не потому, что новь чужда
Размахом городов и станций.

Но словно вижу – утром мглистым
Покинешь строгий Петербург...
И вот уж вид, как итальянский,
И виноградники вокруг.

Все существо рвалось – за дело!
Студент, ты здесь необходим.
А сердце радостно немело
От встречи с солнцем золотым.

И в белом камне, что на склонах,
Увидел зодчий красоту.
К нам перенес дворцы Вероны,
Убавив только высоту.

И с городом меня сроднил
Капеллой, Греческой часовней.
Пусть век прошел, но не забыл,
Кому хотел быть город ровней.

Вновь детством улочка полна,
Что носит Бернардацци имя.
Обнимет кленами своими –
Всех меньше, но милей она.

* * *

Мой город древний, золотой,
С изящной греческой часовней.
Опальный Пушкин молодой
Здесь жил все глупе и бессонней.
Спят львы, когда звучит орган,
И слышат времени дыханье –
Во мгле сломался ятаган,
Войны смирилось полыханье.
Но разве музыка твоя
В разбеге улиц затерялась?
Она из детства, жизнь творя,
Она от юности осталась.
Мой город древний, золотой,
Ты все мне дал, не поскупился.
Любимый лишь не возвратился
Жить в этом городе со мной.



Ул. Армянская. 2015



Молдавская рапсодия

Таинственный свет...
Мне двенадцать... Мой поезд летит.
Но куда он спешит? Я не знаю.
Это кажется мне, что латынь
Так понятна в шумихе вокзальной.

Что случаен в судьбе Кишинёв,
Только мною ли город мой выбран?
Для меня этот город так нов,
Он лучом ранним солнечным выткан.

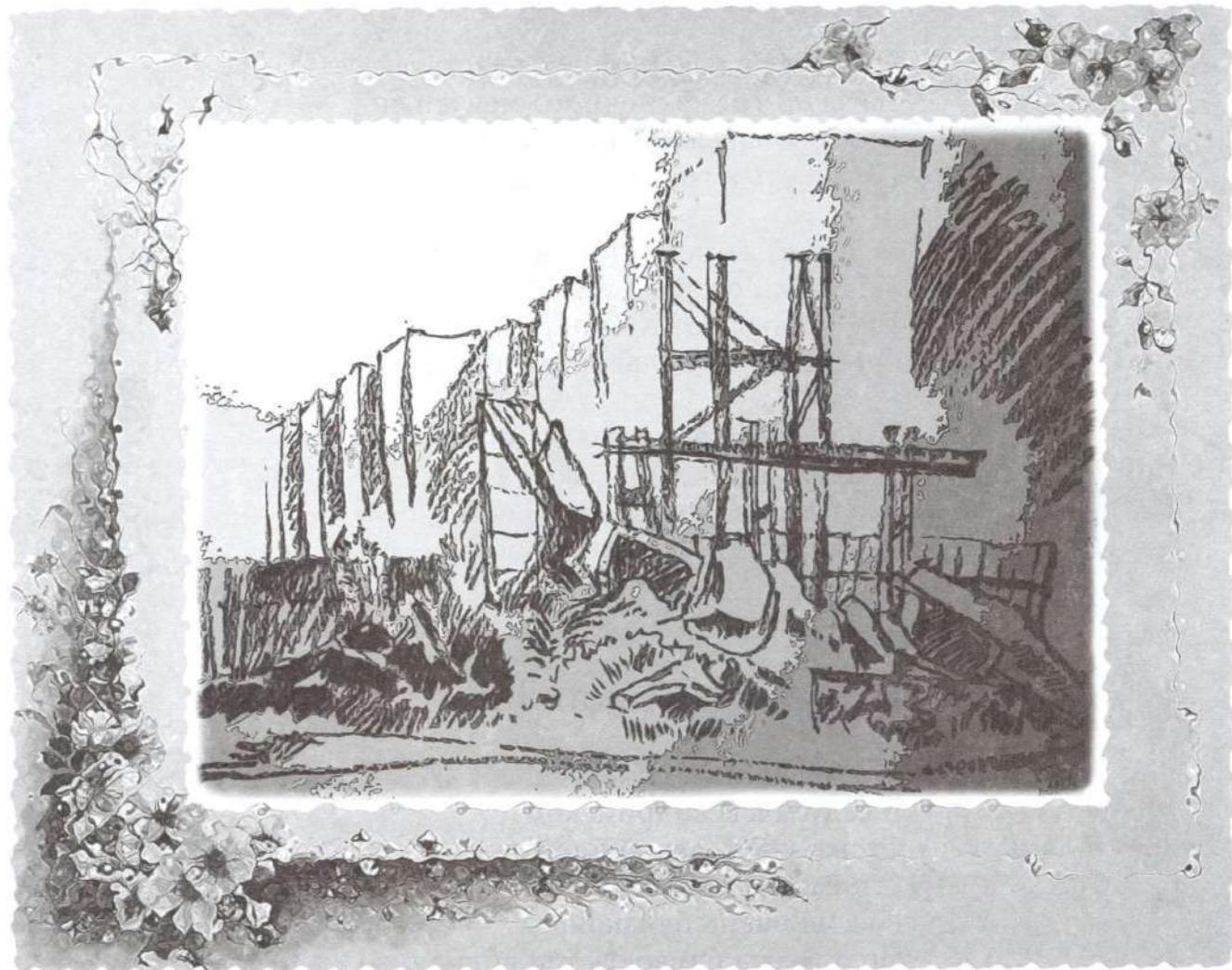
Навсегда надо мной эта власть
Детской грезы, ночного мечтанья,
Где с любовью к балету слилась
Нежность к городу. Весен мерцанье.

О, какой же таинственный свет
Излучали его переулки,
Где опального Пушкина след
Затерялся на дальней прогулке.

Как же сердце мое влюблено
И не знает всей будущей боли...
Распахни в нашу юность окно,
Где апрелями дождик просолен...

Пушкин в Кишинёве

Вот Пушкин мой...
В саду Александрийском
Стоит, соединяя времена...
С ним кажется
Россия очень близкой,
Поэтам эта близость так видна.
Ты весь в ночах
Черней молдавской шали,
А в ссылке жить –
Какая грусть и чудо!
В любви забудешь даже об опале,
Ведь не кислей вино и поцелуй!
Да, может быть,
День для тебя был горек,
Портрет любимой будто без оправы...
Как талисман со мною этот город,
Опале обучивший прежде славы.



Новостройка на Ботанике возле зоопарка. 1981



Кишинёв осенний

Снова открытье концертных сезонов,
Синью и охрой город мой взорван.
Снова соперницы ранящий облик
Светом и золотом осени облит.

Я не начну ожидания снова
Милого голоса, нежного слова.
Как над проспектами, липами, кранами,
Над онемевшими, жухлыми травами

Снимутся в путь, затрубят журавли –
Так и года, что меня обожгли.
Город мой синий и золотой,
Мы остаемся – перед зимой –
В празднике этом веселым и временном.
С песней, из окон звучащей из Бремена.

Осень – разлучница, не повторись,
А каруселью своей отвертись,
Всеми цветами отполыхай!
Необратимо все –
милый,
прощай!

Старый Кишинёв

Дома хранят свои преданья...
О, чья там промелькнула тень?
Где ночи с днем идет братание,
Истает сумрак древних стен.

Гулял весь двор,
а свадьба шумная
Гудела – лэутар играл...
Тот музыкант, не знавший Шумана,
Но гений, зажигавший зал.

Дома лепились, крыши сдвинувши,
Голодной кошкой ночь ползла
К окраинам, во мраке стынущим,
Где накопилось столько зла.
Шаляпин пел, и Северяниным
Так восхищался Кишинёв.
Жизнь эмигрантская, ты ранила,
Но город всем давал свой кров.



Краеведческий музей (Музей этнографии и естественной истории.
Архитектор В. Цыганко. Открыт в 1907). 1985



И не пройдет десятилетия-
Разрушат дом, где в детстве рос
Волошин Макс среди цветения
Коряевых старых абрикос.

В дома высокие и новые
Молодожены перейдут...
А эти крыши бестолковые
Лишь мхом забвенья прорастут.

Церковь

Свято-Георгиевская церковь
В своем сияньи голубом
В день пасмурный и то не меркнет,
Сия золотым крестом.
Быть может, в веке прошлом Пушкин
В нее в смятеньи заходил,
Хор ангелов-детей послушать,
Молясь за всех, кого любил.
И нас в года гражданской смуты,
Как запоздалая любовь,
Спасает в тяжкие минуты,
Давая свой небесный кров.
Здесь первой исповеди благо
И первый в жизни духовник,
Христова причащенья влага,
Немыслимая древность книг.
Свет веры долго шел, однако,
Ведь трудно выйти нам к себе
Из лабиринта улиц в слякоть,
Но церковь – чудо в серебре.
Здесь – вне России – в Кишинёве
Одни идут к тебе, грустя,
Другим чужд голос веры, крови,
Живут, не каясь, не крестясь.
Чем кончится земная драка?
Но ты – часть родины моей.
И Богородица из мрака
Глядит на ветреных детей.



Цирк-шапито. 1978



Из цикла
«Пушкин в Кишинёве»

* * *

Дымное, пылающее лето.
Тяжело,
Несносная пора.
Виноградниками разодета
Небольшая Инзова гора.
Вечереет.
Сколько нарядов девьих!
На гулянье выводок цветной...
Птицы в апельсиновых деревьях
Все расположились до одной.
Скоро ночь слепящая, глухая,
Всюду тихая,
В любой норе...
Скоро сад уснет, благоухая.
Да и дом на «Инзовой горе».
В том дому узорном,
Двухэтажном,
Орденами грозными горя,
Проживал на положенье важном
Генерал –
Наместником царя.
Сколько хлопот!
Поборы и управа. Так хорош,
А этак нехорош,
Разорвись налево и направо,
А потом кусков не соберешь.
Недовольство,
Подхалимство,
Бредни,
Скука: ни начала, ни конца,
Да еще назначили намедни
К нам из Петербурга сорванца,
С нахлобучкой, видимо, здоровой.
Это вам, конечно, не фавор,
За стихи,
За противоцаревый,
Все же остроумный разговор.
Вот сидит,
Прощенья ожидая,
Пожалеешь юношу не раз –



Ул. Стефана Великого. 1973



С норовом,
Сноровка молодая,
Попрыгун
Допрыгался до нас.
Да и здесь ведет себя двояко:
Коль спокоен –
Радостно в груди,
А взовьется –
Бретер, забияка,
Юбочник – господь не приведи.
Но стихи!
Мороз идет по коже –
Лезвие,
Сверкание,
Удар...
И порой глядишь – не веришь:
Боже,
Ну кому доверил божий дар?
Умница, каких не много в мире,
Безобразник, черт его побрал...
И сидит,
Усы свои топыря,
И молчит усталый генерал.
За окном – огромна, неприятна –
Ходит ночь.
Обыден мир, не нов.
Огоньков мигающие пятна –
Это засыпает Кишинёв...

* * *

Так и шло.
Замороженное лето.
Вдохновенье.
Петербург далек.
Мякишем стрелял из пистолета,
Лежа на кровати, в потолок.
Не робел перед любым вопросом.
Был влюблен.
И ревновал.
Жара.
В билиардной в лузу клал клорштосом
Трудного, продольного шара.
И ни сожаленья, ни укора, –
Он махнул рукою на беду,
И цыганка, милая Шекора,
Целовала Пушкина в саду.
Беззаботна, весела, смешлива,
До чего мягка ее рука,



Ул. А. Щусева. 2017



Яблоко чуть видного налива –
Смуглая, пушистая щека.
О Шекоре, о Людмиле этой,
Песня сочиненная горит.
Вот она стоит полуодетой,
Что-то, улыбаясь, говорит.
Старый муж,
Рыдая, рвет и мечет,
Милую сажает под замок.
Кто другая
Сызнова залечит
Злого сердца пламенный комок?
В бусах замечательных
И в косах,
Памятью рожденное опять.
Белокурых и черноволосых,
Сколько было их, не сосчитать.
Первая – любовь,
Вторая – эхо,
Пятая – бумажные цветы...
И еще была одна утеша –
Лошадь небывалой красоты:
Гребешком расчесанная грива.
На себя любуясь, так и сяк,
Хорошо идет она,
Игриво
По Харлампиевской на рысях.
Кисти, бляха – конские уборы,
Тонкое на всаднике сукно –
Едет Пушкин.
Шпоры, разговоры,
Девушка любуется в окно.
И поэт,
Нимало не сумняшися,
Поправляет талисман – кольцо,
Смело заявляет:
«Будет наша»,
И въезжает прямо на крыльце.
И сады,
И луговины в песнях.
Перед ним, румяная, она
Жалуется Инзову.
Наместник:
«Под домашний адрес шалуна»...



ЦПКиО. Вход от Государственного
университета. 1975



Постсоветский город Кишинёв

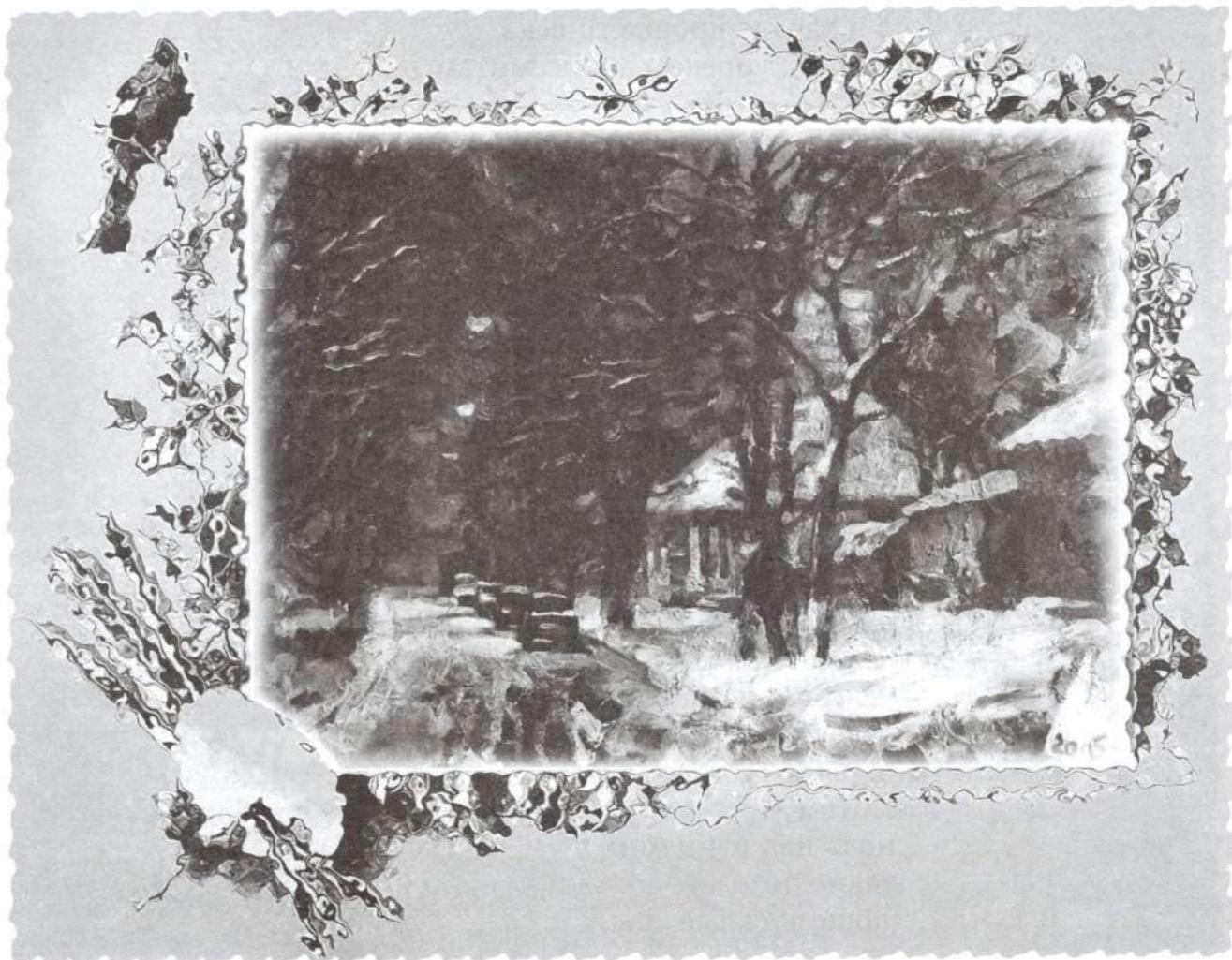
Этот город в девятнадцатом веке
готовил изгнание опальным поэтам
(кадры южного лета –
наплывом на питерские дожди),
еще раньше сгорал три раза
в турецких пожарах,
а в начале прошлого века
служил упреком антисемитам.

Сегодня –
в полуразвалинах
советской архитектуры,
в скелете древнего монстра,
издохшего от гастрита,
тащат скучную жизнь
человечки:
такие крошечные ботинки
на таких игрушечных ножках.

И каждый вечер,
превозмогая сонливость, –
быстрее домой, –
в невкусный ужин,
мытье тарелок,
разговоры о пустяках,
телевизор,
борьбу с усталостью.

Потом –
ночь над руинами:
такие похожие домики,
такие тусклые сны,
и –
будильник:
«Вставай, Сизиф,
пора браться за камень!».

Так –
из недели в неделю,
из года в год.
В таком неповоротливом,
таком предсказуемом
Кишинёве лет постсоветских.



Днестр. 1977



Городу К.

Карта.

на ней бугорок чернил,
следовательно – город;
из тех, о которых забыла история,
о которых не пишут книг.

Никаких названий,
только первая буква, словно в романах Кафки, – К.

Нырни в озерцо чернил,
пронесись над кукольными проспектами,
над домами – разбросанными фигурками детской игрушки
«Тетрис»,
над божьими коровками автомобилей,
мимо картонных стен, где отбрасывал кожу,
оставлял по крупицам себя.

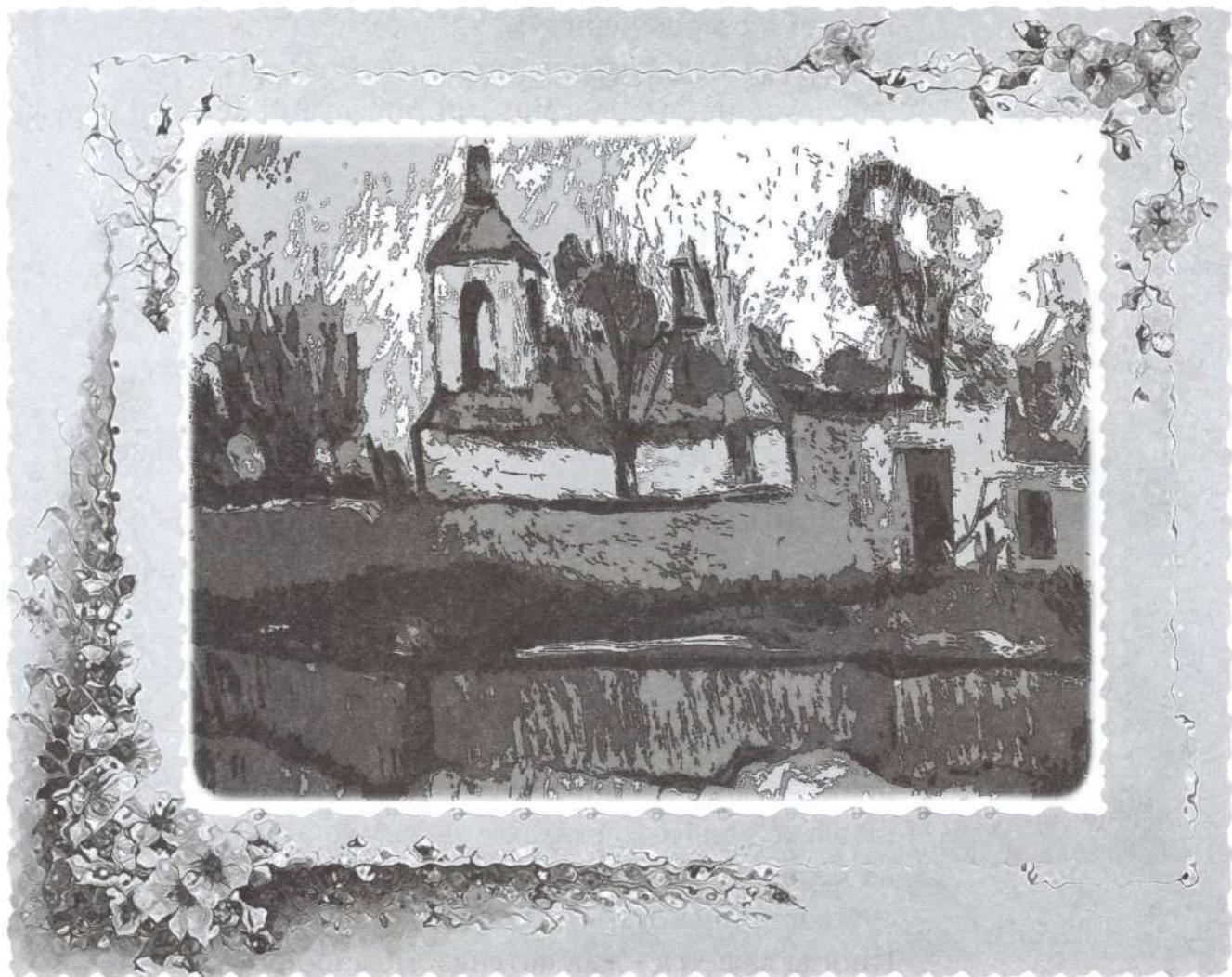
И, быть может, поймешь –
в таких городках, как этот, трагедии незаметнее,
но больнее переживаются,
в таких городках, как этот, события незначительней,
но просачиваются в нас – до глубин.

Лицо жизни разглядывают не в мегаполисах,
но в таких городках,
да и то – боясь угадать.

Живя здесь, вечно кочуешь
в Твин Пикс из Догвилля и обратно.
Здесь в фигурках из «Тетриса»
не беседуют с космосом тет-а-тет,
и только в чьих-то стихах
на перекрестки города К.

спускается ночевать мохнатый зверь мира.

Иногда кажется – как котенка, можно погладить.



Церковь Св. Константина и Елены (XVIII век). 1990



Валентина КОСТИШАР

* * *

Не думать ни о чём...

Черешни спелой ветка,
А за спиной – июнь и знойный Кишинёв.
Молчит столетний дуб,
склонившись над беседкой.
И разморился день, усевшийся в тенек.
Запомнишь не жару,
а птиц скороговорку
И льющийся в листву необъяснимый свет.
А горка наверху –
пока лишь только горка,
И улице твоей еще названья нет.
Пусть скучен твой июнь,
но в нем свои приметы –
И звезды, и цветы,
и жизнь, как мед течёт...
Потом припомнят здесь опального поэта,
Красавиц имена и что-нибудь еще.
Черешни алый сок
настоем жизни сладок,
Еще так долгий день, еще есть время ждать.
И набежит строка,
как облако над садом,
И радостно ее, немую, угадать.
Потом не будет так,
как это было прежде, –
И голуби, и свет, и кружево плетня.
У ног все гуще тень,
и косточка черешни
На землю упадет необратимей дня.

Антоновская, 19

Здесь душа его смотрится в лица
И на племя младое глядит,
Превращаясь в луну или птицу,
Или ветром в листве шелестит.

Или вдруг, возвращению рада
(Ей не надо дверей и ключей),
В дом проникнет, где свет и прохлада
И покой тишины без речей.

И присутствием счастья земного
Незаметно присядет в углу,
Замирая от пылкого слова,
Равнодушно приемля хвалу.



Свято-Успенская церковь (ул. Болгарская, построена в 1892). 1975

